

Опера Партитура

Фрагменты романа

<...> **Tamburo militare**

Малый барабан. Военный барабан. Чёртова кожа.

Деревянный цилиндр. Старушье дребезжанье. Дубовые палочки.

Первые оперы и первые симфонии. Первая музыка для королевских фейерверков.

Зачем им всем военный барабан?

А вот нужен. Человек не может без войны, ему нужно слышать её дребезг и лягз.

Россини, «Сорока-воровка». Траурный марш из Берлиозова «Гамлета». Без чётких, страшных ударов нельзя. Они – пульс земли. В неё мы все ляжем. Дайте срок.

Танцуй, Равель, ты болеро святое! Плащом от смерти я тебя укрою.

О, как бы чудесно было, если б тебя никогда не убили!

Ни на войне. Нигде.

Вместо нотыносца – нитка для твоих нот, военный барабан: под партией бубна, над партией тарелок.

(Ванду и Славу изгоняют из страны навсегда)

Хорошо, что она слепая; она ничего не видела.

Странное молчание обнимало её. Она слышала рядом с собой шорохи, покашливания. Лёгкий цокот каблучков. Ей казалось, вокруг неё встаёт опасное сияние, будто из её головы, от плеч и рук бьют струи огня, взвиваются вверх, к высокому потолку зрительного зала. А люди шарахаются от её огня; от сиянья её. Зачем сиять, когда можно прожить в подполье, серой мышкой? Зачем она поёт в лучшем театре мира, лучшую музыку мира? Ведь мир смертен. Как человек. Зачем каждому дано пройти по миру свой отрезок дороги, чтобы потом, не дойдя до конца, не добежав, подняв руки вверх, будто это уже не руки – языки огня, упасть посреди дороги? И люди пойдут дальше. Они переступят через тебя. Ты должна это помнить.

Ты, слепая певица.

Она не видела, как наполняется зрительный зал, как вливаются, льются люди в партер; как много в зале торжественно, нарядно одетой публики, и мужчин и женщин; мужчины в чёрных пиджаках и светлых смокингах, женщины в вечерних декольте, и жемчуга мерцают на голых шеях. А ведь утро! Утро, а не вечер! Это же не спектакль! Это генеральная! Она не видела, как торжественная вечерняя публика усаживается, как люди вынимают маленькие театральные бинокли и наставляют их на сцену, вертя головами, жадно выискивая на сцене её, Ванду. Это простая публика? Это не простая публика! Тут множество знатных, именитых людей. Товарищей? Гусь свинье не товарищ! И тебе не всякий – товарищ! Дружеское словцо, ласковое. Будто тебя кто похлопал по плечу.

Она ничего не видит, но слышит рядом с собой шёпот: тише, тише. Это ей шепчут «тише»? Или всем шепчут «тише»? Музыка, ведь это повинность. Как любая работа. Как любое искусство. Театр – корабль. Он или плывёт, или тонет. Земля тоже корабль. Страна тоже корабль; как быть, если её команда сбежала с корабля, словно бы это не матросы, а крысы? Она не крыса. Она Ванда Гаевская. Гаевска, как у неё в Польше говорят. У неё? Разве она знает, помнит своих предков? Одна из её бабок погибла в Освенциме. Ей бормотал пьяный отец: бабушку засунули головою в бочку с водой и так держали, пока она не задохнулась. Не захотели тратить на неё пулю.

Она не видела, как в зал всё входят и входят нарядно одетые люди, как важно рассаживаются в партере, обмахиваются газетами, веерами. Они послушают оперу с нею, с Вандой, и с вереницей других отменных певцов, а назавтра сядут за свои дубовые столы и будут строчить, царапать кляузы, доносы, гадости. А эти женщины? О, они станут – бабы. Они снимут и побросают в душный нафталиновый шкаф свои вечерние парчовые одеянья. Наденут ватники, фуфайки, синие и чёрные халаты, холщовые рабочие робы. И пойдут. Куда они пойдут? О, это целая опера. Под названием: «ТРУД ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА». От чего лечит? От какой инфекции? Тяжёлый труд, он что, такой же, как пеньё в опере? Да! О да! Мешки со щёбёнкой через рельсы потаскать – всё равно что оперу спеть! Точно так же спину надорвёшь!

Она не видит, как все смотрят на неё. Какими глазами. Она – слепой зверь в цирке. Вывели на арену, сейчас он встанет на задние лапы. Всем уже известно, что приму и её муженька выгоняют. Подумаешь, виолончелист в оркестре Большого. Пиликает и на свою жёнку из ямы смотрит. Переживает. А куда они сейчас-то? А вы разве не в курсе? В Америку. Америка большая! В Штаты. Нашли куда сгинуть! Туда им и дорога! А вы зачем пришли на генеральную, если их так ненавидите? А вы? А вы?

Она сама заявление написала? А пёс её знает! Видимо, сама! Ах, какая наглость. Не ценит, матушка, родную страну! Мало ей Красная Звезда поблажек отвалила! А может, ей просто денег мало. Ну да, конечно, денег! Ах она жадина! Вот так они все, и эта слепая туда же! А может, её поводырь надоумил. Муж? А кто же ещё!

Она не видела, как в оркестровой яме появился дирижёр, только слышала, как он постучал палочкой по деревянному пульту, призывая к порядку и вниманию. Не видела, как дрогнули во многих руках бинокли, нацепленные на специальные палочки, чтобы рука не уставала: эти бинокли водились среди театральной публики ещё до революции, и в семьях бывших, расстрелянных и замученных в сумрачных тайгах, они ещё, выходит, сохранились. Не видела, как сцена заполнилась молчащим народом; тихо жался к кулисам хор, тихо, на кривых ногах, вышел вперёд старый шут Риголетто, исподлобья глядел на неё. Рядом с ней стояла верная Ева. Ева нашла рукой её руку. Как всегда, крепко сжала. Сейчас они пойдут вперёд. Только вперёд.

В храм я вошла смиренно... очи склонив в моленье! И вдруг предстал мне юноша... как чудное виденье...

Она пела, голос взмывал и звенел, а мысли под черепом ползали муравьями, сами по себе. Её никогда не проводят отсюда на заслуженную пенсию – с почестями, с орденом Ленина на краснобархатной подушечке, с громадными, величиною с клумбу, букетами цветов. Живых! Розы, гладиолусы, царские лилии. Пахнут одуряюще. Нет, не так. Её никогда, никогда в жизни не похоронят отсюда. Не загремит скорбный хор под красными сводами. Не возрыдает мрачный оркестр в яме, так похожей на беспросветную яму в земле. Не зазвонят благостные речи в её честь в полном народе фойе. Не вынесут её мёртвое тело из театра в обитый чёрным крепом грузовик, стоящий у дальнего подъезда. Не повезут, медленно и печально, на кладбище: куда? на Ваганьково? на Троекуровское? на Новодевичье? Должно быть, на Ваганьково повезли бы, там много лежит артистов. Джильда, пой! Звучи! Выбрось эти мысли вон! Ну, донос и донос! Ну, уедешь и уедешь!

Главное – со Славой.

Слова я с ним не молвила, но взоры сказали страсть мою! Во тьме ночной явился он, – томим мечтой влюблённой; бедным студентом назвался, робко и так смиренно...

Ах, вы, люди в зале! Вы бы с радостью на неё набросились. Вы бы стащили её со сцены, раздавили, растерзали. Били бы её долго и страшно, ногами под рёбра, в лицо; а избив, наклонились бы над ней и спросили издевательски: что, получила? ещё хочешь? а не делай так, как сделала! Нас – запрещено ненавидеть! Ты слышишь! Запрещено! Нас можно только любить!

Верди, она поёт Верди, а вот есть дивный композитор, Есаулов, да, Георгий Есаулов, ей играли его и пели, у него такие оперы, такие симфонии, а он уже успел посидеть за колючей проволокой, отбыл срок и вернулся, и его снисходительно обласкали, и к музыке – допустили, да строго предупредили: если что против нас будешь валять – мы тебе такого ваньку опять повалюем! никогда не выйдешь на волю. Кто же не хочет воли! Воля – это ветер. Он дует в лицо, и тебе хорошо. Воля – это когда тебя целуют. Потому что любят.

Есаулов – гений. Слава сказал, он почти весь год торчит на даче под Москвой. Слава у него был; вместе с Евой; они играли маэстро – самого маэстро: Вторую сонату для виолончели и фортепьяно. Слава бормотал: старик рассказывал им байки про Сибирь, про Соловки, угощал их домашним мороженым, и Ева съела две креманки и ещё попросила, невежливо, Слава наступал ей ногой на ногу под столом. Композитор жаловался, что он один. Посверкивал глазами из-под круглых очков на бедную Еву. А она наяривала мороженое.

А они дружат? Кто? Ну, два гения. Есаулов и Шалевич.

Есаулов про Шалевича молчал. Ничего не говорил. Может, и дружат. А может, друг друга ненавидят.

Слава торопливо вышёптывал: старик плакал, когда говорил про премьеру своей оперы под названием «Перекоп». Ещё он написал оперу «Царская Семья». Ну это уже вообще ни в какие ворота! Он кричал: я поменяю название, только репетируйте! Репетиции разрешили. С тайным умыслом: провести генеральную, а потом раздолбать оперу про Царя везде, где только можно. Мало ли у нас газет! А радио вообще везде гремит! Даже на площадях! Песня о Ленине! Производственная гимнастика! Ванда, как же он плакал! «Жизнь за Царя», стонал он, ведь была же у нас в России «Жизнь за Царя»! Ты, подонок, кричали ему, ты получишь у нас «Смерть за Царя»! И это пламя взвилось, едва отзвучал последний аккорд генеральной репетиции. И пошла, закрутилась репетиция смерти. И что? И ничего! Ты же видишь, его оставили в живых! Не расстреляли! И на свободе! Не упекли!

Мне он в любви и верности поклялся навсегда!.. Исчез... а я... Грёзам любви предалась... тем грёзам, что сердце так пленяют...

Джильда тут должна закатить глаза. Или умилённо взглянуть на старика отца. Ванда ничего этого не делает. Она поёт. Она просто поёт.

Сколько изумительной музыки не увидело свет! Сколько пропало фильмов, картин, стихов. Их просто сожгли. Где? Да где угодно: в печке, в костре на опушке зимнего леса. Стихи, ведь они пишутся сердцем. Его драгоценной кровью. Это трюизм, всё понятно, чем же ещё, скажите, их писать? Да они и не пишутся: рождаются. Как младенец. Как песня. Когда тебе одиноко, ты поёшь песню. И когда счастлив, тоже поёшь. Сколько счастливой музыки не отпраздновало под луною своё живое счастье! Её оплели колючкой, выкопали ей яму, бросили туда и забросали землёй, хлоркой, аммиаком, дырявой обувью, битым стеклом.

Ванда, пой. Голос свободен. Он – счастлив. Пой, чтобы сказать людям: счастье – есть, даже под лезвием ножа, под ружейным стволом.

Действие – это время. Время – это жизнь. Жизнь – это смерть. Твой любимый Верди сказал: в жизни есть только смерть. Слава прочитал тебе эти слова из книжки про Верди; и вдруг замолчал. А ты спросила тогда: что ты молчишь? И Слава сказал: я не могу говорить.

Она не видела, как на сцену из картонного дома выбежал тот, кто должен её убить. Потом опять вбежал в дом и следил за ней из картонного окна. Разбойник; нанятый бандит. Убийство, что оно такое? Лик дьявола. Просто его чёрный лик, и он узнаваем; такие лица художники не рисуют, запрещено; Слава сказал: сатану малюют только на иконах, чтобы верующие знали, как выглядит зло. А как, тихо спросила однажды Ванда. Они сидели и пили чай, и за окном сгущал синева зимний вечер, и дома было холодно, и крихтели, стонали обе больные старухи за стеной: бабка и прабабка. Расскажи,

сказала Ванда. И Слава сказал: такой, знаешь, чёрный чёртик, будто в костре горел, и обгорелого, как головешка, кочергой вытащили, с рогами, худющий, рёбра торчат, вместо ступней копыта, как у козла. Рожа страшная, скалится. А его святой какой-нибудь гонит плетью. Или прокалывает копьём. Стой, вспомню, кто копьём-то колет. А, да, Михаил Архангел. Ах нет, и ещё знаешь кто? Георгий! Георгий Победоносец! И он бережно вложил ей в ладонь маленькую, как раковина рапана, старинную фарфоровую чашку с горячим чаем. И спросил: ты не обожглась, родная?

Она поёт. Она Джильда. Она смотрит на старика отца, шута Риголетто; делает вид, что смотрит. На самом деле она смотрит внутрь себя. Туда, куда обычным зрячим людям смотреть не велено. Запрещено.

Из ямы вздымается волна горячей музыки. Она подхватывает Ванду, несёт. Верная Ева тут. Пусть народ в зале думает: это ещё одна служанка. У Джильды есть служанка Джованна, так пусть эта будет, к примеру, Джемма. А что она всё время молчит, не поёт? Да она же немая. В либретто у Верди был такой персонаж; только сейчас режиссёры не выводят Джемму на сцену – лишние хлопоты. А вот в Большом – вывели. Не правда ли, красиво?

Ева, как кукольник, поднимает руку Ванды и направляет к двери. Ванда сжимает руку в кулак и громко стучит. Она знает: за дверью тьма. И надо предупредить возлюбленного о том, что тьма... Убийца распахивает дверь. За герцога слёзно молила сестра. Убийца сказал: я оставлю жизнь твоему брату! Я убью первого, кто постучит в мою дверь!

Стук в дверь. Сейчас она распахнётся.

И она – распахивается.

Служанка отпрянула и упала наземь. Убийца обнял Джильду, сверкнул нож. Софиты удачно выхватили блеск лезвия из мрака. Джильда не поняла, как её убивали. Холодно это, жарко, больно или никак. Она же Джильда, а не Ванда.

Она, так велел режиссёр, тихо опустилась на землю. Ну, значит, на доски сцены. Старалась не дышать. Ведь она же мёртвая. Нет, дыши, ты ещё не умерла, ты умираешь. На умирание нужно время.

Она лежала на досках. Почувствовала, как на неё натягивают пыльный мешок. Мешковина пахла мышами и немного рисовой пудрой. Ещё чуть – одеколоном «Кармен». Её цапнули за ноги, за щиколотки, и потащили. Затылок больно бился о доски. Только не застонать. Сейчас уже кулисы. Вот сейчас.

...мы сейчас улетим из нашей страны мы в ней жили сколько там тысяч лет будем звуки через тьму не слышны через плотный мощный слоями свет мы сейчас улетим разве ангелы мы записали нас в небесный реестр попросили мы панихиду займы – а нам дали на память целебный оркестр уврачуеет раны наложит швы а быть может из небытия воскресит мы избегнем тления но увы не избегнем ячеи трясущихся сит Мы не вынесем самолётный гул ни вдали ни вблизи ни уже внутри ты слепая ты музыки выучный мул ты давай подруга в себя не смотри это настрого насмерть воспрещено это быстро карают не успеешь и ах! – тихим выдохом – а уже на дно опускаешься с веткой сирени в зубах Ты Офелия Джильда Изольда Кармен все кто хочешь и кого не хочешь хотя только то что тебе разрешает плен только то что больно бьётся в горсти Мы страдали здесь мы любили тебя золотая красная ты земля улетаем кладут наши тела в самолётный гроб на борт корабля Будем помнить на сколько суждённых лет васильки во ржи и гимн поутру и военный салют а смерти-то нет не умрёшь любимый и я не умру Не умрёшь наша родина она – это мы гнуто-бито всё вдоль внутри поперёк улетаем плачь не возмёмшь ни займы ни на память твой во ржи василёк

...Слава ни с кем не хотел ни видаться, ни прощаться. Он понимал: прабабку и бабушку может больше не увидеть. Улететь навсегда, что это? Как это? Все дни до отъезда навсегда они прожили в квартире, где тихо угасали Славины старухи. Раздался звонок. Он медленно взял чёрную тяжёлую, как гиря, трубку. Услышал в трубке голос. И тут же трубку на рычаги бросил. Звонок загредел снова. Ванда ровно сидела в кресле, не прикасаясь спиной к обитой фланелью спинке. Ушки на макушке. Сейчас важно не ошибиться. Верно, правильно вести себя. Ванде не понравится этот разговор. Надо уберечь её от этого разговора.

Звонили долго. Наконец звонок умер.

Слава готовил на крошечной кухне обед – варил зелёные щи, жарил навагу. По квартире разносился терпкий рыбный дух. Слава подумал, разбил яйцо и залил навагу яйцом. А потом ещё покрошил в сковородку зелёный лук. Рыба по-польски, он так и скажет милой Ванде: рыба по-польски, прошу любить и жаловать, её так обожали твои благородные предки.

А может, предки у неё были крестьяне, что сам себе мелешь.

А что, крестьяне не ели навагу? В особенности – поморы?

Померания... померанцы... земля апельсинов, что ли... Скалы, ледяное море, свинец волн...

На подносе он внёс кушанья в большую комнату, она же их с Вандой спальня. В маленькой спальне лежат обе старухи. Они уже обе лежачие. Сейчас он будет их кормить. Но сначала Ванда. Ванда – прежде всего.

– Родная, я приготовил тебе рыбу по-польски! Но сначала... сначала...

Она уже весело морщила губы. Делала вид, что радуется.

– Сначала – весенние щи! Щавель, крапива... пальчики оближешь!

Он налил щи из супницы в глубокую алюминиевую, будто лагерную, миску. Такую миску удобно было держать самому, когда кормишь кого-то беспомощного; и Ванде удобно было держать её за круглое, выпуклое дно.

– Поешь! Поешь, пожалуйста!

Ванда сидела всё так же, ровно, недвижно и молча. Как кукла. Кукла Олимпия в опере «Сказки Гофмана».

– Вандочка. Ты не переживай. Я договорился с соседкой. Она будет ухаживать за нашими старушками. Я заплатил ей аванс. И будем оттуда... из Америки... пересылать. Аккуратно!

Ванда молчала. Слава подсел к ней, осторожно держал миску. Ложкой зачерпнул щей, медленно поднёс к Вандиному сомкнутому рту.

– Вандуся... Ну что с тобой... Хоть глоточек... Есть-то надо... Чтобы – жить...

При слове «жить» она вздрогнула. Вся: всем зрячим телом. Повернула к мужу лицо. Слепые глаза глядели внутрь себя.

– Жить? А разве мы живём?

Слава уронил ложку в тарелку. Опустил голову. Щи, сквозь алюминий, жгли ему ладонь.

– А разве...

– Мы только делаем вид, что живём. Чтобы друг перед другом не было стыдно. Мы – не живём. Только она живёт.

– Кто – она?

Слава спросил – и понял.

– Музыка. Мы все уже ненастоящие. Она одна – настоящая. И в этом ужас.

– Почему – ужас?

Ванда ползала слепыми руками по столу. Заплетала кисти скатерти в косичку.

– Потому что мы так её играем и поём, будто с ней – прощаемся. И это правда. Правда. Прощаемся. И больше не встретимся.

Слава медленно поставил миску с зелёными щами на скатерть.

– Почему – не встретимся?

– Она тоже станет ненастоящей. Через какое-то время. Скоро.

По его лбу тёк холодный пот.

– Как это – ненастоящей? Почему – скоро...

Глаза Ванды медленно перетекли, два опала с алыми огнями внутри, с пристального наблюдения души на попытку притвориться, что она видит лицо любимого мужа.

– Стариков перестанут исполнять. А новые композиторы пишут ненастоящее. Подделки.

– Господи, Ванда, какие ещё подделки...

– Такие, – тихо, нежно и твёрдо говорила она. – Якобы музыку. Ноты, и их играют, и звуки летят, плачут... смеются. Воздух звучит. Всё как в настоящей музыке. Только...

Она замолчала.

Молчала долго.

Слава терпеливо ждал.

Потом не выдержал.

– Что – только?

Её глаза то прозрачнели, то жемчужно мутнели.

– Только без сердца.

И он понял. И вытянул руки над столом, над миской, над которой ещё поднимался пар; и грел руки, и мёрз, и дрожал, и сожалел, и боялся, и восставал, и смирялся, и плакал без слёз.

В аэропорту их провожало немного людей. Ванда запретила приезжать в аэропорт к отлёту их рейса. Стояло холодное дождливое лето, Ванда дрожала, как заяц; Слава нарядил её почти по-зимнему – в шерстяную шапку, в короткий полушубок, укутал ей шею в тёплый шарф. Немногие люди стояли посреди мраморного светлого зала. За стеной слышался гул. Самолётный оркестр играл небесную музыку. Бил и бил маленький военный барабан. Крошечный жестокий барабанчик. А барабанчик где? Почему мы его не видим? А потому что у нас нет глаз. Их выжгли. Навек. На последней войне. Люди подходили к Ванде и Славе, обнимали их, целовали, но всё это было незачем. Объявили посадку на борт. Слава крепко взял Ванду за руку. Пойдём, моё чудо. Моя жизнь. Ты моя настоящая. Он увидел угол её улыбающегося рта. Нет. И я тоже ненастоящая. Я же слепая. Я же не вижу, что было, что есть и что будет.

* * *

БЕТХОВЕН: ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ РЕ-МИНОР

ALLEGRO MA NON TROPPO, UN POCO MAESTOSO. MOLTO VIVACE.

ADAGIO MOLTO E CANTABILE

Да разве можно внутри оперы – симфонию?! Мне всё можно. Роды и агонию. Летит с небес музыки обвал! Ну, прячьтесь, крысы, в трюм, в подвал. А мне – этот ветер. А мне – эта война! Раскинув руки, на юру – над рекой – одна. Музыка хлещет, наотмашь бьёт. Жесток народ! Милостив народ! Ему ты родная – а чужачкой зовут: на всю музыку, на все ноты земных минут... Аллегро! Грохот! Седая пыль! Клонится звёзд горький ковыль. Я одна – на животе – сквозь небо – ползу: под выстрелами света, вверху и внизу! Тихо, музыка!.. Не слышит. Орёт. Слышите, люди! Я – народ! Тяжёлый вой... камнепад... звездопад...

Я. Никогда. Не вернусь. Назад.

...о, скерцо бешеное, лукавое, беги со славою, пари над кровавою, любимой державою, я только погонщица, колонна танков и конница, я битва Курская, слеза я русская, а звёзды – красные, а музыка – ласкою, моя несчастная, моя прекрасная, моя, вся вспыхивающая Сияньем Северным, моя, вся вздыбленная щавелём и клевером... Павлиний хвост мой... частушки жадные... А над затылком моим – трубы чадные... Ты, скерцо потное, всё в задыхании!.. такая наглая... такая яркая... такая кроткая... и нет прощания... А смерти, девка, нет – ты брось, не мучайся: заместо смерти – святая музыка...

...всё. Оборвался бег. Ты лишь человек. Ты завтра – женщина. Вчера ты плод. Утроба вечная, горячий плот. Ты завтра – мелодия, ты нотный стан, по жизни голодная, налей стакан. У храма Музыки – в рюмочной той – садись, не мучайся, пребудь святой... такой молоденькой – пред старцем тем... бормочет, родненький: зубёшек нетути, совсем я немощный, пускай голодненький, да хлеб не ем... Плывёт Адажио... Бетховен, стой... томимый жаждою... со мною – пой... Твоё Адажио... нет, врешь, моё... для сердца каждого... в поту бельё... Слезьми омоченный святой платок... Убрус измученный – кровавый ток... Ты только Спас мне, глухой старик... твоя мне ласка... твой дикий крик... Твоя мне музыка – руки раскинь: пылает мужество, и жжётся синь, и это небо, полмира судьбы – и справа, и слева, внизу – беги! – и выше, сверху, боль... водопад... Я твоя вера. Я твой солдат.

<...>

* * *

Saksofon

Адольф Сакс, низкий тебе поклон, земной поклон тебе.

Весь двадцатый век тебе кланяется.

За твой саксофон.

Золотая твоя сирена. Слезы поют. Смех поёт.

Золотой шёпот горит и гаснет.

Хиндемит, Прокофьев, Рахманинов, Дебюсси, сам великий Шалевич тебе поклонялись и перед тобой преклонялись.

Перед изогнутым древним золотым иероглифом, любовным саксофоном твоим.

Саксофон поёт – и жизнь продолжается.

Даже если она уже кончена.

Что за чудо?

Саксофон, ты чудо. Простое чудо из металла, позолоты и воздуха.

Звучи. Ты – голос. Я сплю, и ты мне снишься. Всегда.

(Людвиг и его жизнь. Ария)

Я родился в Империи. Я не знал ничего другого, кроме правил моей родной Империи и правил музыки. Я слишком рано окунулся в музыку. Ей меня учили, а потом я сам стал учить её. Я стал учить её быть, а потом не быть, но она всё равно хотела быть, рвалась из-под моих пальцев и жила, и была, и страдала помимо меня. А я был так, сбоку припёка.

Рояль. Это я, только чёрный и деревянный. Когда красный, когда белый. Но всё равно рояль. Во мне струны, во мне колки и механизм педалей, и я звучу. *Allegro con fuoco, Vivace, Presto, Prestissimo!* А потом вдруг *Cantabile*, и скорбная поступь *Marcia funebre*, и безумная печаль *Largo e mesto*.

Я понимал: из реальности, из всего настоящего я делаю нечто, не выдуманное, нет! ещё более настоящее. Более чем настоящее. Музыка – это карта, территория. Но это и воздух над ней: им можно дышать, нужно дышать, иначе – поддельная смерть.

По-настоящему ты умрёшь только за гробом. После твоей смерти. Когда ты сдохнешь, и тебя закопают десять, ну двадцать, ну сто, а может, пара человек, отчаянно рыдающих, делающих вид, что они не переживут тебя. И когда ты уже будешь там, внутри твоей музыки, внутри земляного чёрного рояля. Будешь лежать спокойно, мирно! Не потревожишь людской окоём.

И вот тогда! Внимание! Тогда ты или умрёшь, или не умрёшь.

Это зависит от того, как ты звучал на земле. Что пел, как струной дрожал, чем клялся-божился, каких птиц с руки кормил.

Думаете, музыка безъязыка?! Звучать тоже можно по-разному. Можно исходить ненавистью, брызгать ядом, но прислонять друг к дружке очень много красивых, роскошных даже нот! – и всё это будет музыка. И люди будут её слушать! Впивать яд всей кожей, всей душой! И что? Что? Опасно это? Или так, ерунда?

Кто такой музыкант? Сидящий на берегу забытой речки Иппокрены Орфей, бряцающий по струнам кифары, поющий убийцам живую нежность и великую боль, или такой вот чёрный ангел, ненавистник, и для него люди – жертвы, овечки на закланье, он их охмуряет, усыпляет, роняет им в их разверстые бедные внутренности чёрные зёрна злобы? Кто такой я?

Я сам по себе? Или я отражаю кого-то? Бетховена, Вагнера, Малера, Баха? Чей я двойник? Я всего лишь чёрная нота. Чёрная книга. Или насквозь светлая, золотая? Я знал чёрных людей, они кричали на весь свет: я хороший! я хороший! любите меня! превозносите меня! А сами за угол – и закручивают рукава до локтей для труда новой смерти. Нового ужаса.

Я сын Империи, и я горжусь Родиной. Её силой. Она слишком сильная, чтобы её можно было прихлопнуть, захлопнуть чёрной крышкой, как отработанную, беззубую клавиатуру.

Мы – поколение. Нам надо прозвучать. После нас явится другое. Оно тоже захочет звучать. И так хотят звучать, быть, жить, плакать, а чаще – радоваться хотят, все, все, все. Все! Неужели кто-то есть такой, что этого всего не хочет! Если не хочет – кидает всё это к чёрту, выбирает путь, которым уйдёт. Отрава, петля, мост и река, бритва и тёплая ванна. У кого есть огнестрельное оружие – тому пуля. А сколько я знал ребят, которые просто спились! Просто – спились – подчистую. Сгорели, как спирт в рюмке, подожжённый для смеху спичкой.

Синее пламя. Как небо в солнечный день.

Меня Империя не посадила за колючую проволоку. Я жил себе и жил. И вот сейчас живу. Я ещё молодой. Я ещё столько музыки напишу! Я рояль, и я же пианист, я играю, это значит – звучу. У пев-

цов наших есть такое словцо, они его друг другу говорят перед спектаклем: звучи! Я сам себе говорю тихо: звучи. Звучи, Людвиг. Недаром тебе родичи такое имя дали. Бетховена так звали.

А может, я и есть Бетховен. В меня его дух переселился. Мне от этого страшно. И радостно.

А потом я думаю: ерунда всё!

А разве рояль может думать? Он может только звучать.

Люди, вот сижу один, передо мной бутылочка, уже наполовину пустая, а может, наполовину полная, как говорят оптимисты, а я кто, пессимист, может, это значит меланхолик, нет, я не алкоголик, я не сопьюсь, и не надейтесь. У нас в семье были алкоголики. И самоубийцы были. И даже убийцы: один мой украинский дед, запорожский казак, горячий, по преданию, суший огонь, узнал, что жинка изменяет ему с его лучшим другом, взял и зарубил её саблей. Это семейный рассказ такой, я его с детства помню.

И за колючую проволоку в нашей семье сажали тоже. У меня отец сидел. Чудо, что вернулся. Умер, когда мне было четырнадцать. А я родился, когда умер усатый Вождь всех времён и народов. А четырнадцать мне было, когда Империя праздновала юбилей, ей стукнул полтинник.

А знаете, кого я больше всего из нынешних композиторов люблю? Думаете, Шалевича? Или Матросского? Или Груздева? Или Есаулова? Вот и не угадали. Я Риттера люблю. А почему? Скажете, он пианист? Исполнитель? Да, исполняет чужую музыку! Да вровень с композиторами встаёт.

Когда он играет Бетховена, он – Бетховен.

Бетховен, это такая музыка, выше и сильнее её, может, музыки нет. Ну, поспорьте. Ну, поссорьтесь со мной. А я сяду за рояль и зазвучу. Буду играть вам *Missa solemnis*, буду играть *Adagio* Девятой. Багатели буду играть, баловаться. Так, безделки, а прошибают навывлет. Как пули. Пули!

Они тоже звучат. Я слышал их свист. Отец слышал их свист.

Навраля я вам. Больше всего люблю отца. А никакого не Риттера. Отец мой, он тоже музыку сочинял. И тоже импровизировал, как и я. Или это я, как он? Простите великодушно, перепутал времена, лучше я себе ещё рюмочку налью. И закусь у меня на тарелочке мощная: такая, как надо: два кусмана селёдки, сам потрошил, нарезанный кольцами лук, ломоть ржаного, и ещё луковица целенькая лежит, чищенная, от неё можно откусывать, это сладко, когда в лук вгрызаешься, молотишь его зубами. Как отец всё время говорил: грызи, цинги не будет.

Цинга, и лагерные песни, вы что думаете, люди за колючей проволокой не поют?! Ещё как поют. Обо всём поют. Каждый хочет спеть, пропеть весь мир, не только себя. Я – кто? Я – тьфу! Песчинка, монада! Сдохну, и никто не заметит! Прихлопнут мошку! А вот мир – он будет жить. Если повезёт, то – всегда.

Звук. Шум. Стих. Шёпот. Вопль! Песня – слушай, песня, это всё ты. Брось песню за решётку, она станет человеком. Песня, дальние дорогие, погибшие миры, вечно живые ели и сосны на юру, живая тайга, посреди тайги озеро, оно цвета синего огня, горящего спирта. Озеро не выпьешь. Ничего не присвоишь, не сожрёшь, не вылакаешь, ты об этом знаешь?!

Я так помню моего отца. Мой отец плевал на официоз. Он и в лагере музыку сочинял. Всем сердцем! У него оно только и было, сердце – для записи: вместо нотного листа. Каждый день – зарубки на сердце, ноты на сердце, шёл на работу и сердце себе когтями процарапывал. Музыка, у неё тоже есть когти! Ой-ёй-ёй как тебя когтят! Выходишь из её холодного моря на берег, весь исполосованный. И эти царапины, порезы не лечатся. Ты тоже – лист нотной бумаги. Она драгоценна. Её нигде не достать, не купить. Отец сам расчерчивал в лагере нотонаосцами страницы, что кто-то злой вырвал из Библии семнадцатого, а может, восемнадцатого века, и прямо на них, поверх старинных гнутых буквиц, нотонаосцы рисовал. Карандаш – раздобыл. Только записи те быстро стирались. А вохра наша – из рук вырвала, в печке сожгла, а кто, на глазах у отца, крутил из клочка партитуры козью ножку, насыпал туда махру, отцу подмигивал, а может, материл его в бога-душу.

И курил. Отцовскую симфонию курил.

Искуривал в пепел.

Я часто думаю про себя. Вот я, птаха малая. Ну выродили меня на свет. Спасибо родителям моим, и я этот свет увидел. До рождения и после мы не будем видеть ничего. Пустота. И тишина. Полная, чёрная тишина. Не то чтобы я в Бога не верю. Я – тихо верю. Никому не говорю. Но верю! Без веры человек не может. И жить, и умирать. В пятнадцать лет я уже умел умирать, когда остался один, без отца. Он слишком рано ушёл. Мог бы ещё пожить. Для меня? К чёрту меня. Для музыки.

Вот думаю. А если бы меня – били? Там – били? Вынес бы я? Самому не уйти в тишину. Не дали бы. Сами бы – прикончили. А ты ни на что не имел права. Ни на что. Даже на свою жизнь.

Поэтому музыка была – единственной свободой.

Там перешёптывались. Перестукивались на пересылках. Там просто молчали. Молчание – это тоже музыка. Музыка без музыки.

Молчи месяц. Молчи два. Молчи тише, чем трава. Водорослью – в реке. На расстреле. На шнурке: сладил крепкую петлю. Не сорвусь. И не люблю. Только слышу голоса. Только слышать мне нельзя.

Охрана носила войлочные тапочки. Чтобы узник не слышал, как подходят к нему.

Тишина. Мёртвая.

Вы думаете, если музыка звучит, то она вся живая?

Музыка окликает тебя. По фамилии. Тебе надо выпрямиться, даже если у тебя болят спина и ноги, вытянуть шею и крикнуть на всю музыку: «Я!»

Там кричали от боли. Когда били. Кричал бы я? Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали? Это поют в начале «Евгения Онегина», у Чайковского, и мне в детстве казалось: слышали львы. Лев тоже кричит, рычит, когда его терзают и убивают медленно. Лучше, когда убивают быстро. Самая тяжкая медленная смерть.

Они кричали, а солдат ставил пластинку на патефон. И музыка играла!

Господи, какая музыка играла! Под крики. Или крики – под музыку?

Стук, стук в стены, молоточки рояля, рояль я, ведь тоже ударный инструмент. Клавишно-ударный, ни больше ни меньше! А вы как думали! Выпьём!

Рюмка на просвет – глаз щурится. На водку на просвет больно глядеть. Она искрится в хрустале, как алмаз. Я видел алмаз «Шах» на выставке. И алмаз «Орлов» тоже видел. Раньше, давно, его носила императрица. Империя сияла в её лбу. Или на груди, всякое может быть. А потом алмаз превратился в водку, и я его выпил. И другие – выпили. И на морозе стоять было очень холодно, а от алмаза внутри стало люто, жарко. Там чувства все укрупнились. Разрастались внутри, обвивали щупальцами, змеями твоё тело, у тела была по музыке тоска. Вместо музыки звучали чувства. Слух улавливал ход муравьёв в муравейнике. И даже ход звёзд. Звёзды текли в полночи по кругу, обтекали Полярную, Полярная яркая, страшная, втыкалась в глазное яблоко, прямо под веко. Но и, ослепнув, человек там – видел.

Отец говорил: там арфистку встретил одну, ещё на пересылке, она раньше играла в оркестре на радио... она на нарах ночью услышала музыку. Неслыханную! И ей так захотелось её сыграть! Она к отцу метнулась, ей сказали: вон композитор, она приникла к нему и неслышно забормотала: я вам музыку напою, запишите, запишите! Охранники засвистели, навалились и оттащили её от отца. Он запомнил только её голос, отчаянный шёпот. И больше ничего.

И потом он записал это музыкой.

А её нигде не исполняли. И не сыграли никогда.

Стоп! Стоп, машина, задний ход! Ещё по одной. По маленькой! Нет, я в своём уме, ха-ха, и ни с кем не выпиваю. Я пью один, но я не алкоголик. Я просто так. На помин души.

Эшелон, он вёз людей, а колёса стучали, стучали. Маленький барабанчик, высокие ноты литавр. Бетховен любил литавры. Я тоже люблю. Литавры – это сердце. А я, рояль, – я тело земли, её буйные волосы, её разинутая пасть, её язык, высунутый, обжигаемый ветром. Снег идёт! Я кричу. Мне пьяно. Мне душно, широко, залиvisto и скорбно. Тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук. И так без перерыва. Возок нас везёт. Он нас увозит. Это наша общая песня. А не красный великий гимн. Теперь не «Интернационал», с ним же воспрянет род людской. Теперь другой. А вот не смейтесь, эпоха сдохнет, а её музыку будут помнить. И петь.

Это наши песни! Вы не отнимете их у нас!

А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер! Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор! Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих! Там, вдали, за рекой, загорались огни, в небе тёмном заря догорала! Сотня юных бойцов... из будённовских войск... на разведку в поля поскакала... Выпьём! Близится эра! Светлых годов! Клич пионера... всегда... будь готов...

Отец говорил: тоска по музыке страшная. Всё стучит, гремит, орёт и гибнет в тишине, а музыки нету. Он говорил: чайки над серым морем орут, и это наваждение. Страшный сон. Полуденный кош-

мар. Он пробовал молиться. Молиться его никто не учил. А сам он не научился. Я – уже могу. Не то чтобы умею. Что попало, бормочу. Но – Богу бормочу. Он меня слышит. Верю.

Море откуда? А то Соловки были. Соловецкая пересылка. Выпьём!

Музыка моя, она такая сначала складная, сначала она гармония, а потом нескладная, рвётся по швам и без швов, ветхая, кричащая, во весь оскаленный рот вопящая. Швы рвутся, трещат и хрипят, а я их сшить не могу. Не смогу. Никогда. Молюсь: ты, Бог, не ударь топором по роялю, по мне, не расколоти в щепу, зубы-клавиши не поруби. Люби меня! Люби! Я же такой огромный, Твой рояль, я величиной со всю землю, с небо! На мне, внутри меня, под ногами моими, под всей чугуновой жаровней моей живут – дышат – умирают – воскресают – копошатся живые – сплошняком, коврами на полмира живые – люди и звери – чирикают бедные птицы – жар-птицы, знатные, богатые, громко хлопают могучими крыльями, улетаая на родину, в Рай – воздвигаются сами собой города – дворцы – плотины – сами собой начинаются лютые войны – и сами собой погибают в дыму и руинах – медные струны звенят и поют золотые – я рояль, я всего лишь рояль, инструмент, я дрожу мелкой дрожью, вибрирую, таю и гасну, я звучу не напрасно – я свет – я уж не мир, а миры – сотни, миллионы миров – я жив до поры – смертно всё, и мне суждено – крышку откинь – я окно – в безглухоту – в бесслепье – в бесславье – в бессмертье – в чистую – белую – золотую – чёрную пустоту – звучи – иди – туда – за черту – за время своё – за чёртово нищее время – за великие горы – за ярость простора – за флаги отваг – за рыдание хора – жизнь песней разрежь на эту, на ту – на маяту, красоту – я уйду, но приду – я вернусь – себя мне не жаль – люди – люди – я только ваш старый рояль...

Эх! А забирает! Хороша водочка. Да и закуска хороша. Водка, селёдка, что может быть чище и светлее? Как им там хотелось выпить! Представляю. Нет, вы не думайте, я не сопьюсь, я знаю меру, я в юности не пил, только в Консерватории водяру распробовал.

Чайки! Соловки! В детстве, когда я слышал: Соловки, мне слышалось: соловьи. Острова соловьёв! Соловьиные трели! А там вокруг узников толклась куча народу: чекисты, охрана, бригадиры. Заключённые чувствовали себя монахами, которых погнали на каторжные работы. Так отец говорил. И при этом плакал, уронив лицо в ладонь. И пил. Пустоту запивал. Если б можно было, он бы носил на шее колочку, как гайтан. И медный староверский крест. Но он крест не носил. Ни на нитке, ни на цепочке, ни на гайтане. Ни на чём. Запрещено. Когда вернулся оттуда, купил в церковке около Консерватории, и носил; в баню пошёл, с него мужик, может, поддатый, крест сорвал и в банный сток зашвырнул. Так рассказывал. Я тогда очень маленький был. Сталин умирал, а я уже был.

Отец говорил: кого в карцер сажали, тот сочинял песни.

Это странно, но это правда.

Там ведь очень тихо, в карцере. Тишина. И приходит музыка. И с ней слова.

На пересылке, на северах, ещё били в небесной выси, на скелетных колокольнях, неубитые колокола. Они людей будили, потом сзывали на обед. И точно, как монахов. Колокола не сорвали, оставили на пустынных колокольнях. Звон. Звон. Колокольный звон. У меня есть одна импровизация. Я её запомнил и играю, но никогда нотами не записал. Играю каждый раз по-другому. Колокола – называется. Да! Рахманинова вспомнили?! Ну вот и я вспомнил. Но я отца помню лучше, чем Рахманинова. Острее. Больнее. Страшнее! Колокол бьёт, плывёт – это страшно! Это ты весь плывёшь! Ты живой, окровавленной лодкой уплываешь в серое, холодное море! Ты потонешь! Недолго тебе! Но плывёшь! А что остаётся?! А колокола звенят, гремят! Плывёшь под музыку сфер! Так небо гудит. Люди догадались, отлили колокола. Это гул и гуд облаков, звёзд. Мы же ими всеми станем. Мы! А я – об этом – сыграю!

Охрана на Островах била в колокола, а в Кеми когда узники пребывали, там били в голую рельсину. Это означало: стройся! Кто в карцере сидел – вздрагивал. В крошечной тишине это всё же была музыка.

Чтобы не сойти с ума, люди рассказывали друг другу истории. Иногда пели песни. Очень тихо. Иногда сочиняли стихи. А шептали их – себе. Им хотелось гармонии и счастья. А ещё – свободы. Когда поёшь или говоришь в рифму, ты свободно паришь в пространстве, во времени. Времени уже нет. А есть ты. Цветок раскрывается в тебе. Его лепестки шевелятся ритмично. Ты уже не обезумеешь. Музыка спасёт тебя. Музыка – свобода.

А ещё музыка – частокол. Нот, звуков, распевов. Это храмовое строчное пенье. Демество. Звучащие крюки. Ты внутри музыки, и она отгораживает тебя от смертных мук. Спасает! Не хуже Бога. Может, музыка и есть Бог?

Да, Бог. Да, Бог! Когда я звучу – я понимаю Бога.

Ах, меня баландой окормляют – колоколом будят по утрам – я монах или узник – я не знаю – а душа открыта всем ветрам – сидор сшил себе иглой тюремную – завтра нам в Сибирь, в еловый дым – чайка, не кричи – а стань царевною – чтоб я стал царевичем твоим...

Матери с детьми тоже попадали туда. Повезло мне. Я родился тогда, когда туда уже никого не забирали. Перестали забирать. Часто спрашиваю себя: зачем? За что? Матери там пели детям колыбельные. Отец говорил: знаешь, сынок, я написал там колыбельную будущему сыну. Ну, значит, тебе.

Он пел мне её. Простите! Не спою сейчас. Выпьем!

И споём – и славу Родине, Ленину и Сталину, я не шучу, я серьёзно, там люди свято верили в вождей, даже когда их тащили на казнь, и дорожные песни, и пересыльные, и давайте уж бластные, куда ж без бластных... у самовара я и моя Маша, а под столом законная жена... это было весною, зеленеющим маем, когда тундра наденет свой зелёный наряд... сыграй на рояле!.. значит, отпечатки пальцев, в чернила обмакнутых, на жёлтой бумажонке поставь... мелодию слышишь?.. это ж вохра к бараку идёт, нежно ступает, даром что в сапогах... не езжай на гастроль!.. не убий, заповедь!.. ещё один срок наматывают... а то давай наши, про революцию: смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе... В царство свободы доро-о-огу грудью проложим... себе!.. Военную затянем: по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд! А то частушки: эх, яблочко, да кисло-зелено! Мне не надо царя, надо Ленина! А то давайте на четыре голоса! да хоть Осмоглас!.. вас тут много?.. никто, клянусь, никто не слышит, что я над рюмкой бормочу... Споём, век воли не видать...

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ... и сушим во гробех живот даровав...

А мой отец ведь могучий мужик-то был. Не то слово! Бахова оратория, а не мужик. Потому он там и выжил. И не скурвился. Там падали многие ниц, и пятки гражданину начальнику лизали.

Мой отец, Всеволод его звали. Всем владел. А им – музыка одна владела. Вот он умер. И его народ не перевозит. И может, никогда не откроет и на руках к небесам не поднимет. Есть люди, кто не взыскует славы, а слава плевать на них хотела; они славны перед Богом. Тихо, о Боге сейчас не надо. Бог попустил на нашей земле всякое такое, что и дьяволу не снилось.

Неужели отца когда-нибудь исполняют? На полмира – сыграют? Ну ведь играют же в Германии музыку тех, кто жил при Гитлере. Гитлера нет, а музыка есть.

Отца давили. Убивали. Мошка под утюгом! Никто его не исполнял. Ни одно сочинение не напечатали. Я кошусь на шкаф. Сквозь стеклянные двери, в разводах трещин, битое стекло, убитый старый мир, вижу горы нотной бумаги. Это музыка отца. После его тихой, безвинной смерти она никому не нужна. После моей смерти... Что? Не слышу. Выпьем!

Ах, бутылочка иссякает. Всё меньше зелья. Всё больше веселья. Я сегодня веселюсь. А что, нельзя? Часто сажусь за рояль и раскрываю на пульте эти рукописи. Играю, слёзы бегут, капают на клавиши, пальцы мокрые, больно, стыдно, продолжаю играть. Когда-то, давно, так страшно давно, что это всё было напрасно и неправда, отец мой учил музыке Царских детей. А-ха! Царских! Детишек! Только представьте себе! Царских! Да за одно это...

Мировая война, гражданская война, отец у белых, в плену у красных, хотели расстрелять, а его помиловал Дзержинский. Почему не сам Ленин? Вот были бы почёт и слава! Лишонец, скиталец, волчий паспорт, по городам мотался: Рязань, Ковров, Торжок, Кострома. Плюнул на всё и поехал в глухую деревню, в костромские леса, в Парфеньев Посад – учить музыке детей. Ах, опять детишек! Детишки, это ведь ангелы! Выпьем! По чуть-чуть! За ангелов. Ласковые они.

Цыплёнок жареный! Цыплёнок пареный! Пошёл по улицам гулять. Его поймали. Арестовали. Велели паспорт показать. Арест, на снег выгребли рукописи, всю музыку написанную, в мешки потолкали, увезли. Убили. Сожгли? А пёс их знает. Была музыка – и музыки нет. А может, осталась? В тебе? Одним?

Значит, ты сам и есть – музыка?

А не эти жалкие ноты, крючки и стрелы, что рисуешь ты нервно и дико летящим пером по пяти линейкам, и брызгают чернила, и по щекам твоим льются чёрные слёзы?!

Музыку уничтожили, ведь это всё равно, что у художника сгорела мастерская с кучей работ. Работы – это наша жизнь. Всё призрачно, выходит так?!

Эй, эгей, а я-то кто, люди кто?! Призрак?! При-зра-а-а-а-ак...

Но вот водка – она не призрак. Она – настоящая.

Выпьём!

Выпустили... опять арестовали в Ярославле, моя мать, молоденькая девчонка тогда, спрятала его рукописи на старом голубином чердаке... А приговор-то был какой! Загляденье! За пропаганду фашистской музыки – в трудовой лагерь на Севере! Фашисты – это два Рихарда: Рихард Вагнер и Рихард Штраус. Ого-го какие музыканты! Мать в очередях в Кремль стояла. Добилась приёма у Калинина. Что она говорила властям? Громко рыдала? На коленях стояла?

Колыма. Река Колыма. За той колючей проволокой люди жили немного. Умирали, как птицы морозной зимой. Отец выклянчил у вохры бумагу и карандаш. Ему выдали кипу бланков для телеграмм. Сам линовал бланки, расчерчивал ноты нотоносцами. Вохра забаву не отбирала. Может, думала: сумасшедший. Там, на Колыме, отец написал двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепьяно. Перед ним маячил призрак Баха в парике. Не верьте, это я так смеюсь. Музыка перед ним маячила. Его били, сажали в карцер, гоняли на дикие бессмысленные работы, но разлинованную бумагу не отбирали! И это было чудо!

Там, на Колыме, во тьме, у костра рассаживались узники, и отец мой рассказывал им всякие истории. Полярная ночь, дрова в костре трещат, узники кричат: Севу зовите, Севку, он нам как ща тут завернёт! И он заворачивал. И про Царских детей, и про пушки в Галиции, и про юнкеров Белой Гвардии, и про красную конницу в донских степях, да мало ли про что. Блажен, кто посетил сей мир... в его минуты роковые, так?..

Отца освободили. Перед самой с немцем войной. Последний костёр. Последние байки. Я спросил: батя, а что ты рассказал там, у костра, в последний раз? Он задумался. Отвечает: уже не вспомню. Вроде о том, как я с твоей матерью поцеловался. Впервые. Сидели и слушали тихо. Как музыку.

А потом, когда отец о поцелуе том первом рассказал, старый вор вытащил из кармана ватника золотое кольцо и отцу протянул. И шепнул: вот, музыкант, возьми, в Магадане продашь, доберёшься до Владивостока, да на билет до столицы хватит, я уверен, только дорого продай. Скажи покупателю: за то золото кровью заплачено. И огнём!

И показал на огонь, на догорающий костёр.

Отец сжал кольцо в кулаке. Может, оно было обручальное, не знаю. Я видел, через все года, через толщу воды, как по их лицам, вора и музыканта, ходили красные сполохи. Пламя взлетает светом суровым! Слышите музыку?

Закончилась война. Немца мы победили. Отец говорил мне: я на День Победы песню написал, и никто и никогда её не исполнил, не спел, я сам себе её дома пел, каждый День Победы, за роялем, рояль мне подарили соседи, почтовые работники, они на Центральном телеграфе работали, муж и жена, рояль им был ни к чему, мать твоя плакала от радости, всё подходила к роялю и гладила его крышку, его резной пульт, шептала: рояльчик, помоги мне забеременеть, что ж я не беременею-то никак! А я, сынок, был весь истощённый, слабый, какое уж тут зачатие.

Отец бомбил письмами Кремль. Он орал в тех письмах: меня не играют! Не печатают! Это мёртвая хватка! Дышать не могу! Дайте жить! Дайте мне жить!

На письма не было ответа. Отец вечерами горбился над роялем, импровизировал. Я наконец родился.

Когда я родился, из тайника в стене мама вытащила бутылку Пасхального кагора, налила в высокие хрустальные бокалы, их ещё в Ярославле купили. И чудом, никогда и нигде, при переездах не разбились. Я орал в кроватке. Есть старая фотография: лежу и ору, и так туго запеленут, что похож на белую гусеницу.

Когда я подрос, я полюбил играть в такую игру: вспоминать, вспоминать, нырять во время всё глубже и глубже и, наконец, добираться до младенчества, а потом ещё раньше оказаться, и увидеть, и вспомнить, как ты рождался; а если поднатужиться и не бояться, можно даже вспомнить, как ты жил в животе у матери. Я – добирался до утробы. Я – помнил. Всё так чётко! В утробе было сладко, тепло, тайно, водорослево. Там меня обвиняли красные горячие хвощи, в меня лилась небесная сладость. Я таял. Я жил и плыл, и больше ничего не надо было.

А потом наступила смерть.

Роды.

Меня моё время стало грубо, страшно выталкивать в другой мир! Я его не знал. Я туда не хотел! Я таранил головёнкой узкую каменную щель, тесный живой лаз, вопил, расправляя рот, протиски-

вался, клещи сжимали меня и давили, я умирал. Да! Умирал! Я рождался в смерть. Я туда не хотел! Толкали меня! Я орал, как пел! Никто не слышал меня! Вот сейчас я умру! Ещё немного! Вот!

...и выскальзываю в свет и воздух, и вдыхаю смерть, вдыхаю её глубоко, мне надо умереть скорее! Больно! Это очень больно, умирать! Точно вам говорю! Никакой музыки в смерти нет! Там – кромешная чернота, пустота, встаёт стеной перед тобой, не хрипит Иерихонской трубой... она – ты, и ты – она, молчанье без дна.

Тишина.

Глухота...

Зачем меня назвали не по-нашему – Людвиг? Мать и отец стояли у кровати. Смотрели на меня, я извивался в пелёнках. Надо было червячку дать имя. Я понимал отца: мать на него глядела молча, послушно, он тут был главный священник всея музыки. Я с моего неба, из-под потолка, слышал, как он сказал: наречёшься Людвиг, в честь великого компониста Людвиг ван Бетховена, аминь.

По-немецки сказал: компонист. Der Komponist, ausgezeichnet, schoen.

Моя мать родила меня дома, в роддом не поехала на скорой помощи, она боялась, что ребёнка в роддоме подменяют, такие случаи бывали. Пригласили знакомую медсестру из поликлиники. За скромную мзду и огромный пирог с яблоками она приняла у матери роды. Меня приняла.

Я был чистым листом бумаги. На мне ещё мир не написал ни одной ноты. Tabula rasa.

Рыдал надо мной золотой саксофон, вторили ему рояльные медные струны, а может, это плакали, кричали, пели и обнимались бедные люди, у моей колыбели.

Рукописи, рукописи, рукописи, ру... Нотной бумагой был завален наш рояль. В той квартире у нас была печь, мы её топили дровами, каждую осень покупали грузовик дров, складывали их в подвал. Я научился топить печь раньше, чем играть на рояле. Мышонок, важно подходил к печной дверце и пихал в жаркий красный зев поленья, что в ручонках мог удержать. Мать не остерегала меня. Умилённо глядела, как я управляюсь с дровами. А потом с кочергой и огнём. Кочерга, кривая, ржавая ведьма, ростом была выше меня. Я её еле поднимал. Но упрямо совал, совал в печь.

Знаете, я упрямый. Я везде суюсь, куда не надо. Сую руки прямо в огонь. Обожгусь?! Да плевать. Мы, русские люди, много чего видали! А мне часто в рожу тычут: Людвиг, ну что, ты кто, немец, еврей?! На что я, из перерусских русский, отвечаю громко и весело: да, еврей! И выхожу. И оглушительно хлопаю дверью.

Выпьём!

Отец умирал: он тоже рождался. Я видел, как он рождался в смерть. Это, я вам скажу, почище всяких других родов будет. Он изгибался, закидывал голову, торчал кадык, глаза выкатывались из орбит. Я смотрел. Он царапал ногтями простынку, матрац. Я смотрел. Губы шевелились, он говорил, я ни слова не разбирал, я не слышал. Я смотрел. Мне было четырнадцать лет. Всё истинное вокруг было под запретом. Под замком. Всё лживое и льстивое – разрешено. Отец мой был запрещён. Да так и остался запрещённым. Кости сгнили в тюрьме. На Колыме. Колыма повсюду. Ей нет конца.

Отец повернул голову на подушке вбок и застыл. Я смотрел.

Отец не двигался.

Я протянул руки... знаете, это были чужие руки... не мои... и этими чужими руками повернул его голову на потной подушке так, чтобы он смотрел холодными глазами вверх. В потолок? В небо? Вверх, это важно. Вверх.

Глаза были открыты. Я знал: надо закрыть. Но руки уже не поднимались, и пальцы мои не шевелились. Руки боялись прикоснуться к векам. Им казалось: они обожгутся.

Мать, за дверью, плакала, я слышал.

Потом она вошла, и сложила отцу руки на груди, и закрыла ему глаза. И беспомощно спросила меня: Людя, а с собой туда, ну, туда, в гроб, ну, чтобы в землю с Богом уйти, кладут усопшему на грудь иконку или не кладут, я не знаю, а ты знаешь?

И я не знал, что матери ответить.

Я тоже не знал. Ничего не знал.

Не знаю и сейчас.

Я знаю, знаете, только вот что: есть смерть при жизни, да, есть эта чёртова гибель, забвенье и презрение, но ты же всё равно живёшь, дышишь, шагаешь, плачешь, смеёшься, и значит, это ещё не смерть. Жить как угодно?! Рабом?! Ползуном в пыли?! Ужом, лягушкой, рыбой в зарос-

шем ряской пруду?! Предателем, гадом, мерзавцем?! А всё-таки жить?! Так?! Так, что ли, я вас спрашиваю?!

А ещё знаю, что... вырастет стена пустоты, черноты... там ни музыки, ничего... вся наша музыка останется на земле. Поэтому я мало что записываю, хоть я, как отец, сочиняю музыку. Я – импровизирую. Я прыгаю в музыку, окунаюсь с головой, ныряю в неё, плыву в ней и кувыркаюсь, я ею наслаждаюсь, люблю её, отдаюсь ей, обнимаю её, она моя любовь, здесь и сейчас, сию минуту, навсегда. Я – музыка. Я – рояль. Ничего мне не жаль. Я живу. Я ещё живу. Я умру – меня забудут. Так надо. На мне, рояле, играет Бог. Это Его пальцы. Это его аккорды! Они обнимают вас и кружат, они льются в вас вином. Кагором! Сладким, сладчайшим! Вот пока льются – смерти-то нет! Вы чувствуйте, знайте это! Но только пока звучу! Пока я звучу! Вот сейчас! И больше никогда!

Так... встать... ну, раз-два-взяли... ещё раз, взяли... меня шатает... тихо, тихо, медленно к роялю подойду... селёдка съедена, водка, увы, вся выпита... а ещё бутылочки нет... вот несчастье... вот жалость... Нет... в жизни... счастья... Нет в жизни счастья, татуировку у мужика в бане видел...

Мне – набейте...

Табурет, рояль, это я рояль, ну, вы поняли. Слушайте!

Я для вас. Только для вас играю. Этой музыки не было никогда. И больше не будет никогда. Я импровизирую. Я через минуту её забуду. И хорошо. Не всё надо записывать. Запись – это на века. А вдох и выдох – на миг.

Запись?! На века?! Всё сожгут, что мы нацарапали. Всё уничтожат! Вечного нет ничего! Но почему же, почему мы всё пишем, и пишем, и пишем, всё сочиняем и сочиняем, всё рыдаем и рыдаем, всей музыкой весь наш окресток – жарко и крепко всё обнимаем и обнимаем?!

Всё живём, и живём, и живём... хлеб едим, воду пьём... в тюрьмах сидим, на волю жадно глядим... на Красную Звезду... она вся в инее на холоду... никуда не уйду... ни в каком году... ни в жару, ни в бреду...

Слышите рояль?! Слышите... Это я дрожу и плачу. Под вашими руками. Выпьём!

Хоть выпить и нечего.

Музыку выпьем. Она крепче водки. Сильно забирает.

Нет, я не боюсь умирать. Меня отец научил не бояться. Боящийся, он так говорил, несовершенен в любви. Это какие-то священные слова, Бог знает, какие. Я не знаю. Я только звучу. Я – музыка. Я ничего не знаю. Ударьте меня! Оболгите меня! Облейте грязью! Бросьте в застенки! А я невредим. Я – музыка. Свобода.

Хрустальная рюмка, и кагор, звон медных, золотых струн под тяжёлой чёрной крышкой. Рояль горит! Его жгут на задах! За сараями! А он кричит, плачет и смеётся! Огонь! Костёр! Никто не подарит мне золотое кольцо, чтобы я до Рая добрался, продал краденое рыжьё и купил себе дешёвый билет! Плацкарта, а может, общий, а может, телячий вагон, солдатская теплушка! Слышите меня?! Слышите?! Звучу! На весь мир! Я, рояль, и есть весь мир! Пейте меня! Пьянейте! Выпьём!

* * *

БЕТХОВЕН. СЕМНАДЦАТАЯ СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО РЕ-МИНОР. ФИНАЛ

Это скачет конь нет тебе наврала это вся любовь в снегу-одеяле это всё что мы никогда не целовали это всё что придёт в конце и в начале это скачка сердца и вот – остановка это заплачка скерцо исполнить ловко это дивное рондо уздечка-подпруга ну же скачи ровно по кругу по кругу в седле сиди прямо наездник сцены выбеги к рампе прости все измены и все любви и все твои клятвы из льющейся крови поставь заплатки скачи вперёд задыхайся жмурься ни о чём не думай летят белые мухи опять зима на стекле рисует пионы снег лёд кутерьма за стеною стоны там только любовь а тебе лишь музыка снится ты только музыка в колесе времени спица ты только огонь между людьми ты пламя Бетховен берёт тебя голыми руками ты молодость вся завтра высохнешь сливой станешь старым урюком древней сладкой подливой станешь старой уродкой на выданье старушонкой ну же заплачь молодо и звонко ну давай же скачи коню вцепляйся в холку убегай от злобы люди могут стать – волки они могут выть тебя когтить идти за тобой по следу скачи вперёд кричи победу вопи на весь мир великое слово яростно хрипло чисто пламенно и сурово

<...>

Campanelli

Глокенишпиль, карильон, колокольчики.

Колокольчики мои, цветики степные.

Широкие железные клавиши. А я-то думала – и вправду колокольчики; в форме церковных колоколов или полевых цветов.

Фортепиано, только клавиши стальные. Ледяные. Заледенелые.

Оркестранты дали мне в руки два молоточка и сказали: бей!

Я стояла посреди оркестра, как посреди людной площади в праздник, и понимала: надо бить.

И занесла руку с молоточком. И ударила.

Звон поплыл над оркестром, над залом. Над миром.

У меня по лицу слёзы полились.

А мне в уши кричали: эй, что ревёшь, с ума сошла?!

Какая чистота. Какая боль.

(смерть Славы)

Хоронить Ванду Слава полетел в Москву.

Москва встретила его чудовищной, лютой зимой. Морозы стояли такие – воздух трещал и рвался. Звенели стёкла в оконных рамах. Музыка замерзала на лету. Городские птицы валялись на льду кверху брюшками. Голод, мороз, смерть, и опять все, кто остался жить, обречены на выживание. На то, чтобы приспособиться к чёртову событию. К адову морозу.

Слава вошёл в комнату к бабушке. Бабушка тихой белой мышкой скрючилась под одеялом. Прабабушки уже не было на свете: свет погас для неё. Ему об этом сообщили, он уже забыл, как: то ли телеграммой, то ли позвонили. Холодно поцеловал лежащую бабушку в лоб, а слёзы на одеяло закапали сами. Он не имел к этим слезам никакого отношения. Всё вокруг текло и обтекало его, как остров, и он громоздился горой льда и стекла. Его можно было разбить булыжником. И хорошо бы. Он звонил, договаривался, люди приходили, он платил, платил, платил. Свинцовый гроб с телом Ванды лежал в гостиной. Проходя мимо гроба и не глядя на него, он раздувал ноздри. Принюхивался. Нет, тлением не тянуло. Труп накололи чем только можно, и свинцовые швы не выпускали наружу адский дух.

Слава садился в кресло и тогда уже исподлобья взглядывал на гроб. Его мертвенный серый, серебристый цвет будоражил его воображение. Ему хотелось этот гроб сыграть. Всё на свете есть музыка, слух лишь к ней не привык. Слух привык к тому грохоту, скрежету и писку, который музыканты извлекают пальцами из своей меди, деревяшек, обточенной до гладкости зеркала слоновой кости. А гроб, он тоже звучит. Эта музыка не всем по зубам. Он сыграет. Вот сейчас.

Он выпрастывал из футляра Челлу, отчего-то она казалась ему мягкой, как лист одуванчика. Плавила и таяла под его руками. За окном мело. Он начинал импровизировать и тонул в музыке. Там, в музыке, он свободно рыдал и жаловался, стонал и вопил. Она была его свобода, а он был её пловец. Надо было переплыть свободу с берега на берег, чтобы изжить собственную мертвечину. Неправдашний мир обступал его, подбивал его на что-то стыдное, гадкое. Вынуждал к чему-то особенному; к тому, что он никогда не делал раньше. В стену громко стучали. Он не знал, что уже ночь. Ночь, это был заокеанский день. Соседи гневались. Далёкий голос кричал: долго тут не было тебя, безумца! Слово «безумец» веселило его. Он шёпотом повторял про себя: безумным сопутствует удача.

Зимняя тоска, и завтра похороны. Они не разрешают мне звучать. Они заставляют меня замолчать. Хорошо. Тогда я буду играть понарошку.

Он водил рукой со смычком над струнами виолончели, пальцами другой руки вцеплялся, впивался в дрожащие струны. Музыка нельзя было убить. Зарезать. Повесить. Она звучала и без звука. Он усмехнулся, неслышимо играя: теперь я понимаю Бетховена. Он слышал, не слыша. Поэтому ему было всё равно, слышит он или не слышит. Музыка жила внутри него. В этом весь секрет.

Внутри Бетховен был настоящий. А для всех, кто бегал и прыгал рядом с ним в одно время, – маленький кудлатый безумец, бродивший по полям с листом нотной бумаги в кармане и с плотницким толстым карандашом в руке.

Да, они ещё пили с ним, с безумцем, в харчевнях. Выпивали. В своё удовольствие. Что? Рейнское? Мозельское? А это идея. Не выпить ли ему? Завтра похороны. Он согреться. Раньше поминок выпивка, ну да это всё равно. От мороза стены вскрикивают. Окна покрылись синим мхом инея. Какое счастье жить в тёплой стране. Скучаешь ли ты по родине? Да! Да?

Он, шаркая тапками по полу, медленно пошёл на кухню, распахнул засиженный мухами шкаф. Он не надеялся найти, что искал. И, о чудо, нашёл. В углу, за жестяными круглыми банками, похожими на барабаны и литавры, он увидел горлышко бутылки. Вцепился ей в горло, как стеклянному гусю, и вытащил наружу. Ещё одно чудо: это был французский коньяк, настоящий, из Парижа. Он, честно, забыл, что он же его сам и привёз. Рюмку нашарил, протёр полотенцем. Плеснул коньяка. К носу сначала поднёс. Вдохнул глубоко. О, снова счастье! Какое счастье жить. И есть. И пить. И играть. И петь. И любить. Что ему из всех этих счастливых осталось?

Зимняя ночь и зимняя тоска. Ну же, глотай. Да не всё сразу. Смакуй. Коньяк смакуют, в него дышат, как любовнице в лицо, им чмокают и вдыхают его, как запах розы, опять и опять. Только тогда его оценивают; и от него пьянеют. Залпом пьют только водку.

Он не исполнил древний завет. Опрокинул рюмку в рот. Не почувствовал, жжёт или ласкает, пьянит или отравляет. Может, не коньяк, а клопомор! Налил ещё. Поглядел рюмку на просвет. Опять быстро влил в себя, будто коньяком тушил внутри себя дерзкий огонь. Музыка – безумием заливал. Жалким минутным наслаждением. Налил и третью. Ощутил жар в животе. Ага, пробрало. Поискал глазами: чем бы закусить. Открыл холодильник. Внизу, на нижней полке, стояла баночка чёрной икры, на крышке был нарисован аляповатый, изогнутый буквой «О» осётр и бежала надпись: RUSSIAN CAVIAR. Эту икру он покупал Ванде. Побаловать. Давно.

Всё, что было до их изгнания с родины, было давно. И неправда.

А вот эта банка чёрной икры – да, правда, правда.

Он уронил рюмку из слабых пальцев на пол. Взял с полки банку. Она лежала в его ладонях, как убитый железный котёнок. Больше не заведут волшебным ключом. И не будет механическая киска поднимать железные лапки. Сел около холодильника на корточки, скрючился. И вот теперь заплакал. Он плакал и выл, коньяк из глаз лился рекой, банка выпала из рук и покатила далеко, за грань мира, в щель музыки. Её уже было не вскрыть никаким консервным ножом. И не убить. И не сыграть.

Ванду опускали в землю на Ваганьковском кладбище. Слава не видел народ, не чувствовал его колышущуюся скорбную массу; он думал, людей будет немного, а на Ваганьково съехалось пол-Москвы. Он не слышал речи. Незачем было. Уши ему залепил воском зимний ангел; может, это была сама Ванда, он же не знал, во что превращаются души, когда тело лежит в гробу ледяным бревном. Люди сетовали на то, что гроб свинцовый, и невозможно дать великой Ванде последний поцелуй. Голоса сливались и сплетались, никто не различал звуков и букв. Делали всё, что положено: подносили разноцветные венки, плакали, размазывали слёзы по холодным щекам. Мороз лютовал. Женщины утыкали носы в меховые воротники, в пушистые шали, в дорогие ангорские шарфы. Слава стоял рядом с гробом, как солдат. Стоял как потерянный: он всё время думал, что он где-то потерял, оставил Челлу. В машине. В вагоне. В самолёте. Память странно исчезла, уступив место пустоте.

В толпе перед Славой мелькнули два лица. На морозе лица склеивались друг с другом, друг к другу прижимались; может, чтобы согреться. Слава узнал их. Ева и Людвиг. Почему они стоят так близко? Так рядом? Зачем Людвиг обнимает Еву? Он много себе позволяет. А Ева, почему она это терпит? Не лучше ли его оттолкнуть?

Он едва удержал себя, чтобы от гроба не ринуться по скрипучему снегу к этой парочке и не разрубить их ребром ладони, грубо не разъединить, чтобы между ними мерцал только мороз, но не любовь. А кто тебе сказал про любовь? Та безумная музыка в ночном Малом зале? Времена сместились. То, что происходит сейчас, происходит до той ночи; всё это происходит много раньше того, что ты испытал потом. И ты сейчас похоронишь Ванду, а потом её встретишь. И ты не давно обнимал Еву, а ещё только обнимешь её в мрачном холодном зале. Поэтому не переживай. Время – странная штука. Оно живёт в пустоте, и им тоже можно играть, как кубиками, как нотами и живыми звуками. Оно всё равно ничего не почувствует.

Его прошибла мысль: а ведь Ванда принесла себя в жертву! Или её принесли? Кому? На чей алтарь? Он наморщил лоб. Старая ушанка его прадеда, в которой прадед его спасался от морозов на жуткой

железной дороге Салехард – Игарка, отыскал он её вчера под бабкиной кроватью, а может, жизнь назад, сползла ему на затылок, и мёрзли, краснели уши. Добрые руки натянули ему ушанку на лоб и завязали под подбородком. Он был благодарен неожиданному теплу. Не понимал, откуда оно свалилось.

Жертва, Ванда. Она была так прекрасна! Слепая, она видела всё. Она была очень, чересчур добра. Слишком добра для нашего мира. Наш мир жадный; он за всё требует плату. Дан тебе чудный голос – так давай, плати! Чем? Болью, изгнанием, жизнью. Самая богатая плата – жизнь. Но ведь мы так привыкли жизнью платить за всё хорошее. И за плохое тоже.

А что в мире можно, а что нельзя? Он этого не знал. Никогда не знал. Не знала и Ванда. Она просто пела; пеньё, это было её дыхание. Для того чтобы жить, ей нужно было петь. Всё так просто.

Она выходила на сцены мира, будто входила под своды храма; глубоко вдыхала воздух и открывала рот, и звуки, что излетали из неё, отражали мир, но не в его временной последовательности, не в том порядке, в каком владыка-мир выстраивал в ряд свои главные вещи: голосом Ванда перемешивала в котле, где варится Время, нудный распорядок действий; и неизбежность пути, что ей был на земле суждён, не свернёшь с него, служила ей грандиозной поварёшкой. Она была ангельской певицей в запретном храме Времени, и ей была уготована быстрая смерть – милостивая, нежнейшая, воздушная, крылатая. Она её заслужила.

А разве человек перед кем-то выслуживается, чтобы заработать награду? Перед людьми? Перед Богом?

Иные выслуживаются перед дьяволом, пробормотал он сам себе на морозе одеревенелыми губами. Люди думали: он молится. Или шепчет жене слова прощанья. Что будет сейчас? Сейчас все поедут на поминки. В ресторан «Пекин», вы же сами договорились. Да, да, я договорился, я помню. А скажите, вы не видели, где моя Челла? Кто, кто? Простите.

Гроб, под всхлипы и выкрики, опустили в мёрзлую яму. Могильщики еле выкопали её на трескучем морозе. Славе всунули в ладонь ком ледяной земли: шепнули: ну, бросайте, бросайте! Куда, беспомощно оглянулся он. Туда! Ему показали на рыжую глину ямы. Он послушно швырнул землю. Вздрогнул от звука, с которым земляной ком ударился о гробовой свинец.

Что было потом, он помнил плохо. Да и ни к чему было это все помнить. Вереница такси с теми людьми, кто явился на похороны Ванды Гаевской, медленно отчаливала от ворот Ваганькова. По морозной Москве мчались машины, и люди внутри машин всё так же кутались, пытались согреться, и всё так же плакали, а иные уже и улыбались, а иные смеялись, предвкушая тёплый зал, и роскошный поминальный обед, и водку, и коньяк, и обрядовый компот, и посмертные пироги – с мясом, с ягодами. Снег пел под ногами; это была опера снега, его премьеры. Пел, скрипел, стонал, визжал. На крыльце ресторана стряхивали снег с плеч, с воротников шуб. Стучали ногами, сбивая снег с ботинок и сапог. Снега было так много и он был такой ледяной и злой, что его мохнатые облака люди внесли с собой в тёплый, сверкающий огнями и фарфором посуды зал, и эти облака призраками висели у столов, стояли над затылками и лбами рассеявшихся за столами людей, потирающих руки, ещё пытающихся старательно горевать. Люди блестели глазами, жарко пылали щеками, светились лбами, всячески горели и сгорали, уже живо болтали, уже весело скалили зубы, а потом вдруг спохватывались, строили кислые мины, делали скорбные лица, вздыхали, вытирали кончиком пальца ненастоящую слезу. Поминки были настоящие, а скорбь уже ненастоящая. Горе растаяло в пустоте. Горе помешали ложечкой в чашке чая, и оно растворилось, распалось на жалкие молекулы. Вносили и уносили еду, уносили пустые тарелки, у всех на морозе проснулся волчий аппетит, халдеи быстро и ловко разливали спиртное по рюмкам и бокалам, вам что, коньяк, а вам что, только водку, а у вас только «Абсолют», а, вон и «Смирнофф», вижу, а нет ли у вас «Алтайской»? Время от времени кто-нибудь вставал то за одним столом, то за другим, и звенели ножом по хрусталу: эй, тише, Марья Петровна хочет сказать!.. у неё великая Ванда занималась одно время!.. это, можно сказать, педагог великой Ванды!.. внимание!.. – и все взирали на необъятную Марию Петровну, её груди и живот колыхались под нежно струящимся серебристым, зимним атласом над заберегом стола, и плыла камчатная скатерть, и неловко, неуклюже падали рюмки, скатерть собиралась в складки, голос Марьи Петровны звучал сначала хрипло, старчески, а потом вдруг вольно, мощно, как иерихонская труба, щёки её колыхались, как студень, и были краснее крабовых лап, она была уже слегка навеселе, её и слушали и не слушали, она говорила в пустоту, напрасно звенели ножом о бокал, билось стекло, смеялись там, далеко, отсюда не видно, стыдились сами себя: разве так можно, вон вдовец сидит, он отрешён

от всего, как бы он не покончил с собой, такое страшное горе!.. – да, всем было немного страшно, но этот страх придавал остроту жизни, будто жизнь взяли и слегка посолили, а потом чуть поперчили, красным перцем и чёрным, белым и зелёным, – сновали официанты туда-сюда, жонглировали чашками и тарелками, подбрасывали вверх и ловили посуду, высоко поднимали над головами подносы, наклоняли их, будто был шторм и корабль качало, а они всё равно несли и несли на подносах людям жизнь, еду, икру, салаты, питьё, быльё, смерть и снова рождение, ведь всё равно снова родятся все, и зима на ледяном подносе подтащит свежерождённых прямо к пиршественному столу, неважно, свадебному или поминальному: отведай, многолюдный мир, новые свои яства, и по вкусу ли тебе придутся эти, вновь явившиеся к тебе, жалкие, голые и дрожащие? Не отказывайся! Угощайся!

Славе казалось, он пил мало, и пил прилично, так, как надо пить на поминках; но пустота подтачивала его под локти, и он тянулся за рюмкой, сначала ему наливали, потом он перестал стесняться и наливал сам, водка разливалась по всем потрохам преисподним жаром, коньяк кружил голову, червем заползал под лоб; он добрался и до красного дамского вина, да, его тут пили одни старые дамы, мужики налегали на крепкие напитки, ресторан гудел, помимо Вандиных поминок тут ещё пировали люди, праздновали или печалились, никто не знал, да и не хотел знать, каждый жил своею жизнью, никому ни до кого не было дела, пустота множилась, разлеталась на лица и глаза, на блеск бокалов и радугу яств, а еду всё несли и несли на кровавых подносах, а бутылки всё тащили и тащили, потому что каждый человек должен был крепкой струёй залить свой несчастный пожар, бушующий внутри, а может, снаружи, и об этом уже никто не знал, – да, вы знаете, всё равно война будет, рано ли, поздно, этого нам не знать, но отрешиваться от неё тоже нельзя, это слишком трусливо и слишком по-детски, мы же все не дети, правда?.. о да, мы все слишком взрослые!.. даже старые уже!.. а вы знаете, есть новая гипотеза, о том, что во времени можно прогрызть такие, знаете, дырки, червоточины, да только, ха-ха, не нашли ещё того червя, чтобы из нашего времени – в иное – хоть малюсенький, узенький ход проточить! А вы? А что – я? Ну вы же музыкант! Вы – сыграйте это! Этот ход червя! Червоточину эту! Сыграйте! Изобразите нам это счастье музыкой! У вас получится!

На поминках не чокаются, с ужасом думал он, а рядом с ним уже чокались, чокался и он, рюмка в рюмку, бокал в бокал, он хорошо понимал, что позорно пьянел, но ничего не мог поделать с собой. Пустота командовала им, и он хотел ощутить вместо неё полноту; и ощущал, и радовался этому чувству. Люстры горели слишком ярко. Люди говорили слишком быстро и громко, он не разбирал. Слепая Ванда висела надо всеми, под потолком, одна, животом вниз, руки её свисали вниз с потолка и болтались, как белые водоросли в морской воде. Слава время от времени поднимал лицо и пытался выстрелить уже незрячими глазами вверх. Глаза различали висевшую под потолком, возле люстры, Ванду сквозь морозный туман. Ей там холодно, бормотал себе Слава, как бы ей-то согреться, как бы ей-то хоть рюмочку коньячку поднести! Он наливал в бокал коньяк, щедро проливая мимо, на скатерть, шатко вставал, тянул бокал вверх, над головой, выгибая шею, его кадык дёргался, будто ему перерезали горло и он умирал, захлёбываясь кровью. Его подхватывали под локти, как в танце, пытались усадить. Он послушно садился, а потом опять порывался встать. Поминки когда-нибудь завершились, потому что закончилось время: его всё все выпили и съели. Нет, ещё много всего осталось на столах: объедки, огрызки, охвостья, скелеты, кости, подонки, шелуха, мусор. Вот халдеям работы будет.

Слава тяжело, будто шкафом ворочал, поднялся из-за стола, потянул за собой скатерть, люди вовремя уцепили скатерть за хвост и остановили шальную симфонию бьющейся посуды. Он пошёл вперёд, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, и, о странно, всё опять видел и слышал, и вроде бы даже не сильно качался, и всё соображал, и сам собою остался доволен: вот я как, и пил, и ел, и песней гудел, и ни в одном глазу! Мужчины одевали дам в гардеробе. Пахло оттаявшими шубами, мокрым мехом. Женщины мазали за ушами духами, одеколоном. Пахло «Шанель № 5», «Быть может», «Красной Москвой». Никто уже не скрывал улыбок. Славе кто-то сердобольный накинул на плечи пальто; нахлобучил лагерную ушанку; он, шатаясь, вышел из ресторана вон, а мороз-то куда не исчез, он вцепился ему в уши, вгрызся в подбородок, располосовал когтями щёки и голые руки. Рукавицы, да, кажется, были рукавицы, он их потерял. Ай, жалко. А Челла? Где Челла?

Рядом с ним шли люди, и он шёл с ними. Его пытались затолкать в машину. Кричали: Слава, ну куда ты под хмельком, садись, не хулигань, довезём! Воняло бензином. Он пинал людей по ногам, лягал их, как конь: оставьте меня! Я хочу пойти пешком! Я здесь рядом живу! Оставьте меня все! Я хочу – один! Один, он хочет один, передавали люди друг другу шёпотом. Шёпот шёл по людям

волной и таял в синеве мороза. Он расталкивал людей кулаками, расшвыривал локтями. Орал на них. Его оставили в покое. Оставили – одного. Он шёл один и радовался, и удивлялся: неужели я один, какая свобода! Потом ему стало горько и больно: неужели я один, без Ванды! И больше никогда её не будет рядом! И больше никогда... Звуки «ни-ког-да» врезались ему под рёбра. Воткнулись, как нож той тётки в Ванду. Он телом ощутил предсмертную боль, которую она пережила. Да, она пережила свою боль; и так каждый переживёт свою последнюю боль, и свою смерть, и своё воскрешение. Ведь она там, под потолком «Пекина», невесомо висела, качалась, плыла – настоящая.

Он шёл по ночной Москве один, и он не боялся позднего часа. Шёл как мёртвый. Сам смеялся над собой: вот, мои ноги мертвы, мои руки сдохли, а я шевелюсь, я зомби. Живые выросли перед ним и закачались. Они шевелились в ночи, как рыбы, а он весело глядел на них. Потом вперёд выступил один живой; он занёс кулак и крепко ударил его.

И он упал на снег.

Его, лежащего на снегу, стали бить ногами. Богатый, кричали, богато одет, ненавидяще хрипели, давай, кончай его, братаны! Брось, кричали ещё, а ушаночка-то санаторная! Вдруг прекратили бить: испугались, что и вправду убили. Он всё сознавал. Они живые, и он живой. Всё пока на местах, незыблемо. Вот, бросили убивать; это Ванда остановила их, Ванда! Спасибо тебе, родная! С него сдёрнули пальто. Грубо шарили в карманах. Вынули бумажник, сорвали с пальца обручальное кольцо. Кричали: жаль, зубёшки не золотые! Сунули в рот кулаком. Он выплюнул выбитый зуб на снег.

Живые убежали. Он, мёртвый, лежал. Думал: надо встать. Встать не мог. Мёрз. А где Челла? Вот бы сыграть, как он лежит на снегу и мёрзнет, в самом центре Москвы, в центре мира. В центре музыки; наконец он над нею царь. Глупости! Никто и ни над чем, ни над кем не может быть владыкой. Люди только мнят, что они властвуют друг над другом. Это они так себя утешают, чтобы умирать было не страшно. Разлепил залитые кровью глаза. Увидел себя в зеркале неба: лицо разбито до уродства, до последнего ужаса, дальше только слёзы, слёзы. И ещё улыбка. Беззубая, кровавая улыбка. Зачем, люди, вы бросили его? Чтобы его избили и бросили на произвол судьбы? А что такое судьба? Судьбы-то нет. Есть только пустота. Она теперь вместо судьбы. Зимняя ночь, как ты прекрасна. Как всё Бог чудесно устроил: звёзды, камни, снег, ночь, живая кровь, и льётся. Тихо льётся, тихо, тихо. Всё тише. Всё нежнее. Всё неслышней.

Высоко, в рваных ночных тучах, звенели горькой замёрзлой полынью последние колокольчики.

Он слушал небесный звон и улыбался. Это по мне звонят? Или это Бог умер?

Он повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и обнял себя красными руками за плечи. Обнял крепко, жарко. Так Ванда обнимала его в постели. Слепая моя, как же я люблю тебя. Родная моя, как же нам хорошо. И всегда будет хорошо. Всегда.

...его так и нашли утренние стражи порядка – скрюченного на снегу, колени к подбородку, поза бедного плода в утробе матери. Мать-Зима родила его нынче ночью. Какая молодец, разродилась сама. И кесарева сечения не понадобилось. И помощи скорой.

* * *

БЕТХОВЕН. ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ ФА-МАЖОР

Переплетаю звуки – устала сиять – ждать – прощать – со дна разлуки поднимается благодать – сдаю последние карты – латаю последний жилет – гляжу бесстрашно и ярко – пишу Последний Квартет – пишу пылающей кровью – течёт и выходит вон – свечою у изголовья – чернилом иных времён – иной враждою смертельной – иною склянкой, где яд – крестом нательным – бредом постельным – в палате, где все не спят – в том лазарете мышинном – на острове – на мысу – иду к Причастью с повинной – в ладонях кус хлеба несу – да, зри! – накормить голодных – да, слышь! – оделить бродяг – насквозь на ветру холодном продрогших тех доходяг – переплетаю жизни – переплетаю огни – Последний Квартет, повисни Полярной Звездой, мигни – светлеет музыка после засилья довременной тьмы – сияет музыка после войны, пыталной тюрьмы – сверкает последним алмазом – в короне всех Северов – ах, слёзы – уж лучше сразу в тебе погибнуть, любовь – переплетаешь вздохи – очи – и времена – птицам зимние крохи... Музыка – и тишина.